

# Гефтер и историческое: памяти Павловского

АНДРЕЙ ТЕСЛЯ

Балтийский федеральный университет им. И. Канта (БФУ), Калининград, Россия,  
mestr81@gmail.com.

ЭТОТ текст о Павловском очень сложно писать — и, подозреваю, будет не очень легко читать. Поскольку он — как во многом и сам Глеб — оказывается в некоей неокончателности, «между». Это не некролог — поскольку время быстрых, написанных по первым следам от известия о кончине, реакций и ближайших размышлений прошло. Это не некролог еще и потому, что не претендует дать пусть краткий, но общий очерк роли и значения умершего. Это и не академическая статья — уже по одному тому, что тщательное обозрение одних лишь опубликованных Павловским и его участием текстов, от книг до разнообразных лекций, интервью и бесед, потребовало бы времени несопоставимого с тем, которое отпущено редакцией «Логоса». Впрочем, дело отнюдь не только в ограниченности времени, приближенности к событию смерти самом по себе, — но и в сознательном нежелании увеличивать дистанцию, не устранять заметки и суждения, опирающиеся на личное знание, — напротив, опираться на них. Словом, это несколько кратких наблюдений к большой теме.

Павловский во многом унаследовал — или, думается, точнее будет сказать, выработал отчасти сознательно, отчасти по близости и сходству — свой язык от Михаила Гефтера. Примечательно, что для самого Павловского «язык Гефтера» представлял проблему. В статье 1991 года, связанной с выходом первой (и, как оказалось, единственной прижизненной) авторской книги Гефтера, «Из тех и этих лет»<sup>1</sup>, Павловский пишет о «трудных текстах, ибо написаны внутри себя»<sup>2</sup> и следом замечает, как «Гефтер... возникал»<sup>3</sup> — то есть возникал тот «Гефтер» как автор 1970–1990-х го-

1. *Гефтер М. Я.* Из тех и этих лет. М.: Прогресс, 1991.

2. *Павловский Г. О.* Замечания на прожитую книгу // Век XX и мир. 1996. № 2. С. 159.

3. Там же. С. 164.

дов, разительно несхожий со своей авторской ипостасью времен Института истории АН СССР. А в некрологе Гефтеру, почти в самом начале, Павловский утверждал еще более радикально: «Гефтер текстуально нематериален. Его тексты лишь *автокомментарий к его скрытности*»<sup>4</sup>.

Вопрос о языке столь важен еще и потому, что один из самых распространенных упреков в адрес Павловского — в неясности высказываний, в подозрении преднамеренной усложненности и затемненности стиля. Нет смысла спорить, что в череде случаев автор прибегал к такой стилистике и с подобной целью, впрочем, нередко и чтобы через ответ собеседника лучше понять его и/или его мысль (в том числе и от того, что в прямом проговаривании, в ответе на вопрос мы можем оказываться непроизвольно намного менее точны, чем в формулировках, выстраивающихся с другой целью помимо самопрояснения). Но это использование языка оказывалось уже побочным, дополнительно полученным эффектом.

Язык Павловского, как он сложился к концу 1980-х годов, был найден им как адекватный его интеллектуальным усилиям и напротив, именно переход к тому, что воспринималось как «ясность», требовал каждый раз отдельного усилия, чтобы потеря адекватности не оказалась критической. С 1990-х он в основном сначала надиктовывал текст — чтобы затем вновь и вновь править, отзываясь о себе как прежде всего редакторе, где исходный текст — лишь необходимая опора.

Это практически отсутствующий в российском интеллектуальном ландшафте, да и вообще не очень часто встречающийся способ мышления — в сплетении теории и практики, создании ситуативного инструментария, который достаточно пластичен, метафоричен — и где это не недостаток, а принципиальная характеристика, поскольку его назначение — схватывать подвижное, не обездвигивая его.

В предисловии к «Слабым» Павловский писал:

Я не скрывал ученичества у Гефтера — автора большинства моих идей. Но всегда утаивал детали, болезненные для меня. Пора признаться в вещах, о которых я говорить не хотел: перетекала ко мне, мысль Гефтера менялась и иногда подменялась<sup>5</sup>.

4. *Он же*. Невосстановимый Гефтер // Век XX и мир. 1996. № 3. С. 247.

5. Павловский Г. О., Гефтер М. Я. Слабые. Заговор альтернативы. М.: Век XX и мир, 2021. С. 6.

И отношении Гефтера сам Павловский писал в своей последней книге, что тот

...стал с годами несуществующим Гефтером. Само отсутствие конфликта вокруг его идей означает их пропажу из истории русской мысли. <...> Остается впечатление суетного шестидесятника, который всюду поучаствовал, немного оставив в наследство<sup>6</sup>.

Здесь позволю себе небольшое отступление мемуарного плана, благо оговорка об особенностях жанра данного текста позволяет. В конце 2010-х годов мне довелось участвовать в нескольких проектах, связанных с наследием Гефтера — и, в частности, готовить тематический номер «Философии: Журнал НИУ ВШЭ». И в череде разговоров вокруг и по поводу Гефтера и попутно читая его тексты — пытался расспрашивать в том числе и Павловского в чем основной тезис, интеллектуальное своеобразие Гефтера, которое позволяло бы не объединять тех, на кого он так или иначе повлиял лично, а именно претендовать на трансляцию некоего «наследия». В большом интервью в сентябре–октябре 2019 года<sup>7</sup> Павловский вновь и вновь возвращался к ключевому для него понятию *альтернативы* в исторической генеалогии от Герцена к Гефтеру, стараясь объяснить его своеобразие, отличие от «вариантов» или обыденного понимания «альтернативы» через понятие «выбора», сводящего его фактически к тому же наличию «вариантов».

Альтернатива в такой интерпретации (которую дальше он будет подробно развивать в «Слабых») — это открытость истории, возможность возникновения новых смыслов, новой реальности не (только) через «выбор» одной из альтернатив, но прежде всего в их сосуществовании. И тем самым политическое оказывалось частным случаем «альтернативы», где деполитизация не тождественна, но близка к утверждению «безальтернативности». В этом плане советская, принципиально глобальная, интеллектуальная рамка схлопнулась, сделалась невозможной в том числе и для самих поздних советских интеллектуалов в 1990-е и последующие годы. Для тех из них, кто продолжил интеллектуально присутствовать и в «постсоветское» время, исчез пусть и принципиально отвергаемый, но «другой» в лице советской действительности и советского проекта. Если раньше вопрос ставился: как возможна трансформация, конвергенция или радикальное исчезновение этого «другого» — и в том числе как будет меняться «другой дру-

6. Там же. С. 23.

7. Неопубликованные записи. Архив автора.

того» или как он может измениться, чтобы «вразумить», привести советский мир к «норме», — то теперь вопрос исчез. И вроде бы торжество собственных идей — или того, что принималось за таковые — привело к тому, что «все стало ясно», что оставшиеся вопросы — локальные.

Павловский утверждал — здесь активно подчеркивая, что идет именно вслед Гефтеру, — что Россия возможна только как глобальное. И если это глобальное для нее отсутствует как данность, то она будет его производить, изобретать — именно как способ выживания<sup>8</sup>.

Если философия это попытка понять не только себя из мира, но и мир через и/или из себя, в том числе и исторического, то именно в этом Павловский был одним из немногих, буквально единиц, кто сохранил это историческое. То есть не взгляд, что есть «мир» и «его вопросы» — и они вовне, и ты смотришь из стороны, из глубокого уединения, провинции — «вопросы мира где-то в стороне» (и тебе надо, если тебя они интересуют, туда отправиться, мысленно и/или физически). Но что «здешние» вопросы и есть мировые или их же «конкретная формулировка» — не «Россия и мир»/«Россия и Мир» в смысле двух величин, а единства, что «свое» есть вместе с тем и «мировое», это разные плоскости — но разные плоскости одного и того же. Это взгляд, который был «органичен», самой собой разумеющимся для любого марксиста выучки 1930-х годов, к числу которых принадлежал Гефтер. И который стал уникальным с «возвращением» в «естественный ход истории», по формулировке Валентины Твардовской 1991 года<sup>9</sup>, в ее статье о гефтеровском секторе ИИ АН СССР, кажется, даже не замечающей всей парадоксальности своей формулировки.

Константин Гаазе в 2019 году подчеркнет одну из ключевых особенностей мысли Павловского — его свободу от «нормативного» (или даже: «нормирующего»), представления о том, как оно «должно быть» и исходящего уже из этого обсуживания/обсуждения наличного<sup>10</sup>. Но есть и другая черта, связанная с этой, но особенная — это не интерес к «наличному» как таковому, а интерес, увлеченность тем, «что может быть?», какие варианты возможны из данного — и отсюда своеобразие интереса к «данному»,

8. См.: Павловский Г. О. Ироническая империя: Риск, шанс и догмы Системы РФ. М.: Европа, 2019. Гл. 1.

9. Твардовская В. А. Излом. (На рубеже 1960–1970-х годов) // Век XX и мир. 1996. № 1. С. 210.

10. Гаазе К. Б. Политическая социология Глеба Павловского // Павловский Г. О. Ироническая империя. С. 7.

не занимающего внимание «во всей полноте», но в той мере, в какой оно относится к продвижению во времени, которое перестает быть модерным временем устремленным к смыслу (ведь такое время и есть один из способов производства нормативного), а оказывается именно длительностью. Это вновь возвращает нас к теме «альтернативы», и теперь уже в первую очередь в ракурсе различия трактовок Гефтера и Павловского.

Гефтер не только в 1960-е, во времена сектора общей методологии Института истории (откуда выйдут ключевые фигуры последующей культурологии и философии диалога<sup>11</sup>), но и в дальнейшем оказывается склонен к противопоставлениям и дихотомиям, пытается подтолкнуть к действию, выстраивая катастрофическую перспективу, говорит о дилеммах и о «выборе — основной свободе конца XX века»<sup>12</sup>. И дело не в том, что Павловского дилеммы и выборы будут интересовать преимущественно в плоскости политической, его вопрос будет по преимуществу направлен на то, как эти дилеммы возникают/утверждаются как центральные. Принципиально, думается, иное — различное базовое понимание истории.

Гефтер в итоге остается помещающим смысл в историю, в этом плане вполне принадлежа к гегельянско-марксистской традиции. Для него речь идет так или иначе о (вос)создании общего хода истории, размещении себя, нынешнего момента в этой общей истории, он уйдет от марксизма своей молодости, будущее будет им пониматься как возникающее, а не предопределенное, но именно поэтому ему принципиально будет сохранять ту перспективу, которую сам Павловский обозначал как «эсхатологизм».

Можно сказать, что для Павловского — и здесь он, думается, созвучен времени — «универсальная катастрофа», которой пугает и которой надеется подтолкнуть к действию Гефтер, перестает пугать. В том смысле, чтобы определять свои собственные или надеется через это вызвать чужие действия. Она не отменяется как «нереальная», но именно делается предметом осмысления — как одна из возможностей. Не избегающий пафоса, он скорее помещает этот сюжет в общую череду размышлений о человеческой при-

11. В числе сотрудников сектора были Леонид Баткин, Михаил Барг, Владимир Библер, Светлана Неретина, близок к сектору будет и Арон Гуревич, принимавший участие в его семинарах. Об истории сектора, помимо указанной выше статьи Твардовской, см.: *Драбкин Я. С. Самостоянье // Век XX и мир. 1996. № 1. С. 91–119; Неретина С. С. История с методологией, или Конец истории // Век XX и мир. 1996. № 1. С. 120–163.*

12. *Гефтер М. Я. Надо ли нас бояться? // Век XX и мир. 1996. № 3. С. 18, 19.*

роде, о человеке как «прирожденном убийце», убийстве как начале человеческой истории.

Кажется, для Гефтера угроза «глобальной катастрофы», ядерного апокалипсиса — став из угрозы реальности — была тождественной объявлению всей человеческой истории неудачей: если смысл в истории, то подобный финал означал бы бессмыслицу всего.

Напротив — и здесь был собственно исторический взгляд Павловского — для него последующее не отменяло предшествующего. История как действие с набегающим результатом, побуждающим вновь и вновь переоценивать предшествующее, как причину наступающих последствий, — взгляд для него радикально чуждый. История здесь приближается к гегелевскому пониманию поступка, который,

... перемещенный во внешнее бытие, всесторонне развивающееся сообразно своим связям в последовательности внешней необходимости, ведет к многообразным *последствиям*. <...> [но] воля имеет... право *вменять* себе лишь первые последствия, ибо лишь они входят в ее *умысел*<sup>13</sup>.

Отдаленные последствия и «итог всего» (впрочем, уже предстоящий для неведомого наблюдателя) не лишают смысла случившееся.

Для Гефтера разомкнутая история собиралась перед лицом «общей судьбы», и «эсхатологическая перспектива» держала смысл под угрозой бессмыслицы. Павловский не испытывал необходимости в подобном — от того, что для него эсхатологическая перспектива, по крайней мере в последние два десятилетия жизни, не требовала закавычивания.

Но независимо от этого различения общим было понимание исторического и современного как разговора с «живыми мертвыми», их соприсутствия: и одним из таких разговоров станет для Павловского растянувшееся на десятилетие перебирание и перечитывание записей бесед с Гефтером. Так, в период работы над первым из трех томов «Разговоров» с Гефтером Павловский писал:

Вот я так расшифровываю свои разговоры с Гефтером начала 90-х годов, и вдруг ясно вижу, что мы обсудили с ним ну-

13. Гегель Г. В. Ф. *Философия права* / Пер. с нем. Б. Г. Столпнера и М. И. Левиной. М.: Мысль, 1990. С. 162.

левые, а я этого тогда не заметил. И вижу куда я пошёл позже и почему<sup>14</sup>.

А сам тип, к которому по крайней мере стремился он, близок к сформулированному Гефтером в письме к участникам перестроенного Клуба им. Н. И. Бухарина в Набережных Челнах:

Вы — не судьи их, потерпевших поражение. Вы — их наследники. Их духовный опыт, их судьба — ваше наследство<sup>15</sup>.

В автобиографическом интервью в апреле 2021 года Павловский, ближе к концу разговора, когда описывал основания своего «политического ориентирования», использовал в качестве ключевого понятие «интенсивности» — в экзистенциалистском ключе<sup>16</sup>. Понимая под этим стремление к «интенсивности» существования и переживание ослабления «интенсивности» как побуждение к действию. «Альтернатива» принадлежит — по крайней мере в его трактовке — к тому же ряду: не к возможности выбора самого по себе, а к сознанию, что мир не сводится к одному порядку существования, в нем есть сосуществующие и враждебные способы быть, разные способы жизни. И именно потому он старательно, вновь и вновь подчеркивал, утяжелял формулировку — говоря о «реальной альтернативе», о значении именно ее, а не неких воображаемых других путей. «Реальная альтернатива» сама становится своего рода если не способом жизни, то условием наличия этих способов, не случайно ему так созвучна оказалась Ханна Арендт, прежде всего в связи с ее философией «*Vita activa*».

Мне представляется, можно выделить несколько образов-слов, которые оставались неизменными для исторической мысли Павловского с рубежа конца 1980–1990-х годов и вплоть до последних текстов: (1) альтернатива, (2) мировой, глобальный масштаб и (3) слабость. О двух первых было сказано выше, а третья тема, третий сюжет занимает его в переплетении общего и сугубо личного (что характеризует ведь и все существенное) еще с 1970-х. Это и понятная для «поколения 1968 года», к которому он сам себя относил<sup>17</sup>, замороженность молодыми революционерами, от наро-

14. Запись от 30 марта 2013 года. Архив автора. Речь идет о работе над книгой: Павловский Г. О. 1993: элементы советского опыта. Разговоры с Михаилом Гефтером. М.: Европа, 2014.

15. Гефтер М. Я. Из тех и этих лет. С. 481.

16. Запись от 8 апреля 2021 года. Архив автора.

17. Павловский Г. О., Гефтер М. Я. Указ. соч. С. 37. См. также: Крастев И. Экспериментальная родина. Разговор с Глебом Павловским. М.: Европа, 2018.

довольцев до Че Гевары — и парадокс диссидентства, о котором напишет уже в 1991 г.:

Самое время вспомнить о затонувшей эпохе.

Когда обыск в десяти московских квартирах вызывал эхо в мировой прессе, когда нелепые люди в России несли в портфельчиках нелепые свои бумажки — а сверхдержава шла за ними по улице, как некто с бритвой — шла, но боялась напасть! Она могла раздавить их, раздавить и унижить не хуже, чем в Уганде — и не могла, не решалась, не смела, так до самого конца и не поняла, что же именно ей помешало? <...>

Это не фронда, не оппозиция. Диссиденты были элитой мировой державы, нечистой совестью государства <...>. Тени Октября, Ялты и Нюрнберга — интерференция несовместимых сущностей, на миг вспыхнувшая балансом всемирной свободы — невозможным балансом! — породила утопию свободного человека в обстановке, исключавшей тень независимости — под патронажем сверхдержав<sup>18</sup>.

Он постоянно возвращается к теме слабости с начала 2010-х годов, когда параллельно создает вереницу работ о Системе РФ и разговоров с Гефтером — и важная задача для ближайшего будущего медленно прочесть их параллельно, как единый развертывающийся во времени текст. Слабость будет толковаться им не только как исток, но и как постоянная составляющая Системы РФ, «выживание» обратившей в способ существования — единственный. Свой собственный отход от Гефтера и последующий возврат к нему же он будет толковать как непонимание, отталкивание от слабости — соблазн создания «сильной власти» и то, что сам этот соблазн — и есть слабость, но не понимающая собственной силы. И слабость прежде всего — как опасность, общепсихологическое: возникновение человека как «универсального убийцы» именно из его биологической слабости, непригодности (ему был симпатичен круг гипотез антропогенеза как биологического сбоя, эволюционного вывиха, где «ошибка» биологическая оказывается возможностью непредсказуемого развития).

В истории Павловского интересовала либо «антропология» — совсем древность, на уровне предков от нечеловеческого к «человеческому», там, где граница неясна и где обнажается это неограниченное в иллюзорно-ином — сегодняшнем, либо XIX–XX веков. В первом ему было интересно (одно из его любимых

18. Павловский Г. О. Замечания на прожитую книгу. С. 149.

слов) мерцание этого неопределенного — в сегодняшнем, в повседневном или событийном. Во втором — прежде всего русская история, набор имен и событий, в первую очередь унаследованный вновь от Гефтера (как и интерес к праистории — с гефтеровским любопытством к Борису Поршневу). И в этом же интересе к русской истории — особая страсть к документу, к стенограммам, к служебным документам и прочему делопроизводству, к тому — как в казенных формулах проскальзывает, приоткрывается — в драматургии собрания, протокольной фиксации — то, что не схватывает никакой дневник, мемуар или письмо.

Но была и третья большая область исторического интереса — на сей раз совершенно независимая от Гефтера. Внешне, можно сказать, пришедшая из одесского детства и исторического факультета, но обретшая свой особенный смысл, разросшаяся и ставшая постоянным спутником лишь 1990-х годов, когда Павловский стал «собой», тем особым, уникальным сочетанием мысли, производящей действие, и действия, производящего мысль: античность и ренессанс. Тех, кто писал не созерцая, а изнутри, писал зачастую не просто о близком прошлом, но о «современной истории». Павловский до последних месяцев любил вспоминать, что не только учился на историка — но и хотел бы им стать. В известном смысле он им и стал — не в плане институциональной истории, а исторического размышления, осмысления прошедшего — не как наивного мемуара, а ближнего прошлого как понимания и настоящего, и человеческой природы. Античный опыт — по крайней мере так, как его представлял поздний флорентийский гуманизм.